

Константин Николаевич Леонтьев

Записки отшельника



Константин Леонтьев
Записки отшельника

«ОМІКО»

2002

Леонтьев К. Н.

Записки отшельника / К. Н. Леонтьев — «ОМІКО», 2002

Перед вами — произведение, в наибольшей мере дающее представление о философской концепции Леонтьева — мыслителя, едва ли не первым провозгласившего понятие «особого места» России как страны, тяготеющей скорее к восточной, нежели к западной культуре, полагавшего либерализм и прогресс опасными и негативными и проповедовавшего «византизм», соборность, православие и возврат к допетровскому пути развития России.

© Леонтьев К. Н., 2002

© ОМІКО, 2002

Содержание

Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой	5
Владимир Соловьев против Данилевского	15
I	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Константин Леонтьев

Записки отшельника

Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой

Было время, когда и я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго!

Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж. Занд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист. Романтику нравилась *война*; нигилисту претили *военные*.

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?

До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (*немногих в то время*) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... *Прогресс*, напр. *Какой именно прогресс?..* Разве я понимал в 20–25 лет *ясно – какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода!* Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же... *Даже и революция* мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и т. п.

О *вреде* или пользе революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал.

Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не *штатскую* цель их... Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил. Я сказал: «довольно долго» воинственные средства революции заставляли меня забывать их уравниательные *пошлые* цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал – «долго». Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, – я исправился скоро... Время счастливого для меня перелома этого – была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских *нот* и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья... Я *идеями* не шутил и не легко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели... Наши – путем искусного и тонкого отрицания или ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам Гоголь – «Как все у нас скверно!»), а западные – открыто и прямо (хотя бы Ж. Занд: «Как прекрасен демократический прогресс»)... Но я *хотел* сжечь и сжег!.. Догорела последняя тряпка гоголевских *обнюсков*; истлела последняя ветка той фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но *хитрая* Аврора Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром... Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша (у которой я прежде желал поцеловать туфлю или подол и серьезно мечтал – съездить за

этим во Францию, в Берри в самый *Nohant*¹...) я стал подозревать, что она бывает поочередно *то сама собою*, то нет; то искренна, то притворна... В Лукреции искренна; в Теверино и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и в других социалистических романах своих притворна; ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду монархии, дворянства, мистических, положительных религий, войн и неравенства – привело бы к такой ужасающей прозе, что и вообразить страшно!..

Эстетика *жизни* (не искусства!.. Черт его возьми искусство – без *жизни*!..), поэзия *действительности* невозможна без того *разнообразия – положений и чувств*, которое развивается благодаря неравенству и борьбе...

Эстетика спасла во мне гражданственность... Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни — необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен и иногда и недоброжелателен, – и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, – для меня стало понятно, *на которую сторону стать*: на сторону всестороннего развития или на сторону лжеполезного разрушения.

Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и *жалеть* и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьевым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью – защищать даже и православие, в котором, к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем.

Государство, монархию, «воинов» я понял раньше и оценил скорее; церковь, православие, «жрецов» так сказать постиг и полюбил позднее; *но все-таки постиг*; и *они-то*, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь, – что каждый *может уверовать*, если будет искренно, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании ее. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренно.

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти «жрецы и воины» (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствуют «софист и ритор» (профессор и адвокат)... Первые придают *форму* жизни; они способствуют ее охране; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые по *существу своего призвания* склонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению...

С той поры я готов чтить и любить так называемую «науку» *только тогда*, когда она *свободно и охотно* служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице; как служит, например, и в наше время эта благородно поработанная вере наука у епископа Никанора в его книге «Позитивная философия» или у Владимира Соловьева в его «Критике отвлеченных начал», как служила она у Хомякова, хотя бы и несколько своевольному, но все-таки в основе глубоко православному чувству. Я уважаю науку тогда, когда она посредством некоторого *самоотрицания*, посредством частых сомнений в собственной пользе и полезной силе, prepares просвещенный ум человека к принятию *положительных* верований; то есть таких верований, при которых духовные, таинственные (мистические) начала не могут выразиться в одной отвлеченной и скучной какой-то морали, но ищут *воплотить* себя даже и в *вещественных* явлениях внешнего богопочитания. Пожалуй, я скажу, если хотите, в том самом «ханжестве», которого почему-то так боится г. Ф. Г-в, недавно негодовавший в «Московских ведомостях» на «обскурантизм» «Гражданина».

И что такое, в самом деле, это «ханжество»? Всякий, я надеюсь, знает, что «ханжество» и «лицемерие» не одно и то же. «Ханжество», как слово порицательное, значит (в устах людей, употребляющих его) *излишняя*, до мелочности доведенная преданность всей совокупности внешнего церковного культа, а совсем не притворство. Поклонение иконам и мощам, частое

¹ Ноан – местечко во Франции, известное церковью с замечательной романской живописью; там находился дом Ж. Санд.

хождение в храмы, молитвы «по правилу», а не по одному порыву, исповедь и причастие; уважение к монашеству, даже и к слабому (*какое есть* — что делать!) и т. д. Да ведь это-то и *есть Православие* и больше ничего; один верующий может больше проникнуться любовью к таинственным, духовным началам христианства и чувствовать потребность чаще вступать с ними в общение посредством вещественной, воплощенной, так сказать, святыни; другой — поменьше; третий — изредка; четвертый — не только сам влечется к этому всему, но и проповедует все это другим; положим, хоть так, как делал покойный Аскоченский. Я «Домашней беседы» никогда не читал, но если Аскоченский предпочел христианскую набожность общеевропейской учености, то это делает ему великую честь, и тут нет никакого «обскурантизма» (как это старо и глупо — «обскурантизм»!), а напротив того, просветление русского ума, свергнувшего с себя вериги чужого рационализма... Не знаю наверное, кто это писал под этими буквами: *Фита* и *Глагол*.

Боюсь догадаться!.. Мне стыдно за *него*, если действительно это тот, на кого я думаю. О, умный и почтенный друг мой, прошу тебя, умный и добрый мой Ф... не печатай ты впредь такого легкомысленного вздора!.. В глазах *истинного* христианина — обращение к Богу и Церкви, хотя бы и вследствие страдания спинного мозга, как у Аскоченского, по словам твоим, после страстно прожитой молодости, — ничуть ведь обратившегося не роняет. Пути у Бога разные. Энергический натуралист Северцов стал молиться от *страха* в плену у коканцов; гениальный врач Пирогов — молился в горькие минуты жизни, а потом уже нашел, что не молиться в дни спокойствия и радости — неблагодарно и низко. Тот стал молиться потому, что потерял любимую женщину, с которой был счастлив; другой — оттого, напротив, что с женщиной — несчастлив; третий стал пламенно-искренно набожен, потому что у него у *самого отвратительный нрав* и его никто не любит, и никого у него нет на свете, кроме Бога... С ним он беседует в храме и один в комнате своей к нему простирает руки и плачет, и говорит: «Боже, Боже мой! — я знаю, как я несносен, как я неуживчив, как я слаб и сердит; понимаю, что люди тяготеют мною, — но ты, Господи, — ты пощади меня, подкрепи, и утешь, и прости мне!» А людям он и не без основания противен. Быть может, он даже и лукав по природе с людьми, *но с Богом нельзя ведь лукавить* верующему в него... И тут опять случается ошибка; говорят, путая понятия и слова: «Ханжа, лицемер, набожный и лукавый». Лукавый с людьми — не значит лицемер перед Богом... Это значит только, что сила веры этого человека недостаточна для одоления силы его враждебных и приобретенных пороков... И только, а Господь на страшном и справедливом суде своем, зная его *врожденные* свойства, будет вероятно, судить его, лукавого и несносного, снисходительнее, чем многих из нас и добрых, и любезных, и искренних с людьми... Все эти «таланты» и «проценты» на них... Да, «у Бога путей много!»... Tout chemin mène a Rome², — моя почтенная и ученая Ф-а!.. И эту азбуку *ученому* русскому человеку надо *знать* даже и в том случае, если он бесовщину спиритизма предпочитает православной набожности. Довольно, однако, об этом. Я отвлекся.

Я думаю теперь о другом...

Теперь, — в уединении моем, уже близясь к могиле, — успокоенный и, благодаря идеалам и утешениям этого самого «ханжества» (московской Фите неприятного), гораздо более счастливый, чем во дни моей мечтательной, тщеславной и отвратительно-страдальческой юности, я стараюсь иногда отдать себе отчет, что портит больше и что воспитывает лучше русских юношей: семья, школа и чтение... И мне опять приходится немного разойтись с редактором «Гражданина»... Или — не то, чтобы совсем разойтись, а, быть может, к тому же прийти, только более окольными путями. В области чувства и действия я понимаю и люблю пути прямые; в области мысли я прямым путям не доверяю... «Гражданин» все это время говорил

² Все дороги ведут в Рим (*фр.*)

о школах; я хочу сказать несколько слов о литературе по тому же самому поводу, по поводу влияния на молодые умы. По-моему, так: семья сильнее школы; литература *гораздо* сильнее и школы, и семьи.

В семье *своей*, как бы мы ее ни любили, есть нечто будничное и фамильярное; самая хорошая семья действует больше на сердце, чем на ум; в семье мало для юноши того, что зовется «престижем». В многолюдном учебном заведении всегда есть много официального, неизбежно формального и тоже – будничного...

И не может этого не быть... Поэзии (*души-то этой*) во всякой большой школе мало... Самая стеснительность неизбежной дисциплины, самая принудительность учения, столь полезная для выработки терпения, воли и порядка, все-таки скучны; забывать этого не надо, когда судим об юности.

Только одна литература из всех этих трех орудий влияния всемогуща; только она одарена огромным «престижем» важности, славы, *свободы и удаления*. Родители – *свои* люди, в большинстве случаев весьма обыкновенные: их слабости, их дурные привычки нам известны; и самые добрые юноши чаще любят и жалеют отца и мать, чем восхищаются ими. Очень хорошие дети чаще *почитают* родителей сердцем, чем *уважают* их умом. И надо сказать правду, что в большинстве случаев большего и требовать нельзя. И в заповеди ветхозаветной, переданной и христианству, сказано: «*Чти* отца твоего и мать твою»; а не сказано: *люби* их во что бы ни стало; или *уважай* их *внутренно, насильно*, даже и тогда, когда они очень порочны, глупы или злы. Религия требует от нас много трудного, но невозможного она не требует. *Чтут* в человеке не характер его, чтут *отца*. Из *почтения* добрый и честный сын *уступает* отцу даже и тогда, когда он им *ничуть не убежден*; ибо уступить в моей воле, но убедиться не в моей...

Школа тоже не может так всевластно подчинить ум и волю юноши, как посторонний и удаленный от него во всем величии своей славы писатель.

От семьи и школы даже и довольный ими юноша рад все-таки в известное время эмансипироваться; от литературы ему нечего освободиться – он сам ее ищет, сам избирает, сам с любовью подчиняется ей. Вот в чем разница!

А что делала наша русская литература с того времени, как Гоголь наложил на нее свою великую, тяжелую и отчасти все-таки «хамоватую» лапу?..

Я оставлю теперь в стороне публицистов и ученых: я буду говорить только о романах и повестях.

Что же делала со времен «Мертвых душ» и «Ревизора» наша будто бы «изящная» словесность?

Изображала правду жизни, – скажут мне...

Ах! Полно – так ли?

Нет, не так! Жизнь, изображаемая в наших повестях и романах, была постоянно ниже действительности... Я обрываю тут нить тех более общих мыслей, которые бы естественно должны следовать за этим решительным моим определением... и перейду пока прямо к военным героям в русской литературе.

В действительной жизни для того, у кого извращенный в основах дух отходящего скоро в вечность XIX века не исказил изящного вкуса и не убил здравого смысла, – *военный будет всегда выше штатского*, конечно, при всех остальных равных условиях со стороны ума, характера, воспитания, красоты и силы телесной и т. д... Хорошо нам, штатским гражданам, *писать* о политике и войне, позволительно нам подчас и *желать* даже этой войны для пользы отчизны и даже человечества; но недаром же спокон века ценились и чтились *особенно* те люди, которым выпадает на долю нести за всех нас труды, болезни и все тягости походов и подвергаться всем ужасам и опасностям битв...

Это до того ясно, до того старо и до того вместе с тем вечно ново (ибо вечно справедливо), что я, напоминая об этом, не хочу и обращаться на этот раз к тем, которые бы потре-

бовали от меня более подробных доводов. Я обращаюсь лишь к тем, у которых есть хоть зародыш согласия со мной в основании и хоть тень сочувствия моей этой главной мысли: *военный* (при всех остальных равных условиях личных) *выше штатского по роли, по назначению, по призванию*. При всех остальных равных условиях – *в нем и пользы и поэзии больше...* Это так просто и верно, как то, что во льве и тигре больше поэзии и величия, чем в воле и обезьяне (даже и в большой, как горилла); как то, что коринфская колонна лучше всех колонн; как то, что Шекспир есть величайший драматург всех времен, или как то, что Лев Николаевич Толстой в «Анне Карениной» и в «Войне и мире» выше всех романистов нашего времени и за все последние тридцать-сорок лет во всем мире.

(Прошу при этом понять, что я различаю *этого* прежнего, *настоящего* Льва Толстого, творца «Войны» и «Анны» от его же теперешней тени... Тот Лев – живой и могучий; а этот, этот – что такое?.. Что он – искусный притворщик или человек искренний, но впавший в какое-то своего рода умственное детство?.. Трудно решить... Расчет, однако, верный на *рационалистическое слабоумие читателей!*..

Да, если бы он не стал теперь тенью прежнего «Льва», то *он-то именно*, он, который так любил все *простое*, он прежним сильным умом своим давно бы понял такую *простую вещь*: какая же это любовь отнимать у людей шатких *ту веру, которая облегчала им жестокие скорби земного бытия?* Отнимать эту отраду из-за чего? Из-за пресыщенного славой и все-таки ненасытного тщеславия своего?

Что-нибудь одно из двух: если *новый* Толстой не понимает такой простой вещи, что колебать веру в Бога и Церковь у людей неопытных или слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то, как ни даровит был Толстой прежний, этот *новый* Толстой и в *этом частном вопросе* просто выжил из *своего* ума! Или же если он и тут не совсем спутался в мыслях, а *придумал* только, чем бы еще неожиданным на склоне лет прославиться, то как это назвать – я спрашиваю? Назвать легко: но боюсь, что название будет слишком нецензурно – и умолкаю.

Впрочем, спрошу себя еще: *не оттого ли он так много пишет о любви, что сам по природе вовсе не добр?*

Случается и это.

Итак, сделавши эту необходимую и мне, и читателю оговорку, я возвращаюсь к прежнему. *Блестящий военный должен быть, как он прежде и бывал, по преимуществу героем романа*. Во всей же нашей литературе – военный высшего круга не был истинным героем романа со времени Лермонтова и до больших сочинений Толстого.

Между «Героем нашего времени» и «Войною и миром» прошло более тридцати лет. Между злым, но поэтическим скептиком Печориным и спокойным, твердым и в то же время страстным Вронским высится мрачный призрак Гоголя (не Гоголя «Тараса Бульбы, Рима и Вакулы», а Гоголя «Мертвых душ» и «Ревизора»); призрак некрасивый, злобно-насмешливый, уродливый, «выхолощенный» какой-то, но страшный по своей все принижающей силе.

Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то не вдруг, а постепенно) – где Тургенев с честным Лаврецким и энтузиастом Рудиным; где Писемский с благородным масоном своим и привлекательными «Людьми 40-х годов»; где Гончаров, не с Обломовым, конечно (ибо Обломов это тот же Тентетников «Мертвых душ» – только удачнее и симпатичнее исполненный), а скорее уже с бессильным, но тонким и умным Райским. Где – Достоевский с несколько бледным и далеким сиянием христианского креста над клоакой окровавленного гноища; а где и сам Толстой в своих первоначальных повестях, как односторонний, еще тогда не слишком самобытный поклонник чрез меру потом прославленных «простых и скромных» русских людей.

Больше всех от гоголевского одностороннего *принижения жизни* освободился, я говорю, все-таки *он же* — Лев Толстой — и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта — Алексея Кирилловича Вронского.

О Вронском-то я и хочу поговорить подробнее и, между прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого.

Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет, ибо не будет и самобытной нации.

Роман «Анна Каренина» имеет в себе такое множество достоинств самого высшего разбора, что о нем стоит написать целую особую книгу и даже большую, как и сделал недавно умерший молодой и даровитый критик Громека (Последние произведения гр. Л. Н. Толстого, Москва, 1885 год).

Я не могу этим заняться; и если бы мог, то, конечно, заключения мои были бы совсем иные, чем у Громеки. Во многих отношениях они были бы даже совсем противоположны.

Громека, начав с эстетического разбора этого великого произведения, очень искусно перешел потом к собственному сочинению: он придумал свой эпилог для «Анны Карениной». В этом эпилоге критик будто бы сам посещает постаревшего Левина в его имении и беседует с ним «о любви»... (Разумеется — не о романтической или о плотской любви к женщинам; но о «любви» всеобъемлющей, всечеловеческой, или, как выражаются и Левин, и сам Громека, — о *христианской* любви.) Из главных действующих лиц романа в эпилоге Громеки мы встречаем только Китти, жену Левина и его свояченицу Долли, уже вдовой... Легкомысленный и обворожительный муж Долли, князь Облонский, умер; скончался также и граф Вронский от тифа во время последней нашей войны. Я нахожу, что без них стало гораздо скучнее на свете и пустее, и мрачнее. Если бы я вздумал подражать Громеке, я бы распорядился иначе судьбою действующих лиц. У меня Вронский непременно был бы не только жив, но и прославлен подвигами под Плевной, на Шипке и в балканских снегах. Облонского судьбу я, право, не знаю, как бы решить; но если уж в эпилоге моем нужно кому-нибудь умереть, то у меня умерла бы скорее эта незначительная и практическая Китти; а Левина, который (как часто бывает с людьми исключительными) сильно привязан к этой весьма обыкновенной и не всегда приятной женщине, я после этого удара или заставил бы смириться пред Церковью, ездить по монастырям, поститься, поднимать икону Иверской Божьей матери и как можно *больше делать действительного, ощутительного добра*, иногда даже и весьма неохотно, принудительно, сухо, не всякий раз по искреннему движению сердца, не всякий раз по доброте, по «любви человеческой», а и по «страху Божию», по боязни согрешить, по *любви ко Христу*, по любви к послушанию и т. д. Или, если уже оказалось бы, что он (Левин) решительно неисправим, что он помешан на любви только к *собственным сердечным движениям*, к своему «нравственному равновесию», как иные выражаются, что для него по-прежнему не Бог — *любь* есть, а *собственная его любовь*, его мгновенные добрые движения — *суть Бог* и больше ничего; если бы он (Левин) не только бы продолжал так упорно *веровать в себя и свое сердце*, но и открыто проповедовать это самообожение (наивное или притворное — не знаю); если бы он проповедовал эту безбожную *автолатрию*, а веру в учение Церкви разрушал бы явно без всякого сострадания к незрелым и шатким умам, — то я поскорее назначил бы Вронского губернатором в ту губернию, где Левин живет, и велел бы сперва зорко следить за ним, а потом заключил бы его надолго в один из *самых отдаленных монастырей*. Кто знает, быть может, он там бы опомнился и одумался... Бывали примеры! — Первая великая скорбь не сокрушит гордыню нашу, сокрушит вторая. У покойного Громеки в его книге (к сожалению, очень хорошо и благородно написанной) мировоззрение совсем другое. У него Вронский назван «бессодержательным» человеком; а на Левина он смотрит как на некоего благодатного старца, который может нам открыть даже и то, чего желает сам Бог!

«Раскройте нам тайны, открывающейся вам *новой*, величайшей области прекрасного! Говорите о Боге, о том, *какие законы оставил Он нам, и как их нам можно исполнить...*»

Вот что восклицает под конец своего эпилога молодой и восторженный критик! Левину присваивается какая-то уже не только умственная или нравственная, но и *мистическая* сила. *Его* изъяснение Закона Божия – есть новый катехизис, пожалуй, даже и улучшенное очищенное Евангелие.

Да, можно сказать, «не поздоровится (духовно) от таких похвал!»

Легко Левину *забыться*, слыша подобные возгласы, и счесть себя действительно священным сосудом нового откровения!

«*Едва обретается человек, могший терпеть честь* (то есть принимать почести, не повреждаясь от гордости), *негли же* (а может быть) *и отнюдь не обретается!*» — говорит Исаак Сирийский в самом начале своего глубокомысленного творения «*Слова духовно-подвижнические*».

Но оставим пока Левина с его нравственными немощами (а по предлагаемому мною эпилогу – и с его религиозными преступлениями) и обратимся к самому создателю его характера – графу Толстому, к великим его эстетическим достоинствам и даже к политическим (быть может, и нечаянным) заслугам его – в двух больших его сочинениях «Войне и мире» и «Карениной».

Трудно решить, который из этих романов художественно выше и который политически полезнее.

И тот и другой во всем так прекрасны; и тот и другой – хотя и не во всем, но во многом так полезны, что не знаешь, которому отдать предпочтение во всецелости его.

Я невольно останавливаюсь беспрестанно, и мысль моя, подавленная обилием разнообразных достоинств Толстого в этих трудах, недоумевает: с чего начать!..

Положим – с *эпохи*. Великое время народной войны, эпоха, неизгладимая из памяти русской... Конечно, задача выше, содержание *в этом* смысле грандиознее, чем в «Карениной».

Так; но зато второй роман *ближе* к нам, и потому его красоты могут иметь на нас, современников, более прямое влияние. Хорошо, чертами в одно и то же время крайне реальными, *внушающими полное доверие*, и чувствами идеальными, нас *возбуждающими к лучшему*, увековечить в памяти потомства годину всенародного героизма; но чрезвычайно похвально и современное нам высшее русское общество изобразить *наконец-то по-человечески*, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью... Как не ценить этого, после того, как в течение целых тридцати и более лет никто не мог, не хотел и не умел за это взяться! Так называемый «мужичок», «солдатик», раздраженный завистью студент или разночинец, угнетенный чиновник Акакий Акакиевич, или, напротив того, чиновник-грабитель Щедрина; Тит Титыч Брусков, и в самом лучшем случае – благородный, но все-таки смешной Бородин, или некрасивый Каратаев Тургенева³, – вот кто был почти исключительно вправе занимать собою читателей в течение этих истекших тридцати или даже сорока лет. Что касается до людей более или менее высокопоставленных и «благовоспитанных» (другого слова никак не подыщу), то все подобные более изящные или более привлекательные герои у Тургенева, у Гончарова и отчасти даже у Писемского – или нестерпимо бесхарактерны, или робки, или крайне нерешительны, или во многих случаях даже низки (Калинович), или не патриоты, или неловки и ленивы до карикатурности (Обломов), или физически слабы и не очень красивы и т. д.

Скольким читателям, я уверен, в течение стольких лет приходила на ум такая мысль:

– В частном случае, вот в том или этом, это, конечно, правда и прекрасно изображено. Но что ж мне делать, если я в действительной жизни сам встречал нередко русских людей и более твердых, и более смелых, и более красивых, и блестящих, и более полезных государству

³ Записки охотника.

и обществу, чем все эти полуотрицательные герои... В частностях все эти романисты правы, во *всецелом отражении* русской жизни – они не правы.

А прав был тот немецкий критик, который сказал про героев Тургенева, кажется, так: «не думаю, чтобы все русские мужчины были бы таковы»; – *одна одиннадцатимесячная осада Севастополя доказывает противное!*

Было ли очень много у нас таких независимых и прозорливых читателей – не знаю; но, разумеется, были и такие.

Не все очень умные люди пишут и печатают; и не все те люди, которые пишут и печатают, настолько умны, чтобы вовремя на все это хорошо указать. Только у Толстого действительность русская во всей полноте своей возвращает свои права, утраченные со времен *серых* «Мертвых душ» и *серого* «Ревизора». Только *его реализм* (в этих двух больших творениях, повторяю, а не в прежних более слабых повестях) – только реализм Толстого *есть реализм широкий и правдивый*.

Только его творчество равняется русской жизни, а не стоит много ниже ее по содержанию и освещению, как у всех других. Справедливость требует, конечно, упомянуть здесь еще о «Четверти века...» и «Переломе» Маркевича... Но эти два, тоже правдивые, тоже изящные и тоже весьма высокие романы появились все-таки позднее «Войны» и «Анны» Толстого, так что *инициатива восстановления*, так сказать, *эстетических прав русского высшего общества* все-таки принадлежит не Маркевичу, а Толстому.

Искусство имеет свойство делать нам многое в жизни яснее прежнего. Мы часто сами или вовсе не примечаем чего-нибудь в действительности, или запоминаем явление только бессознательными силами души, а художник более резким каким-то выделением этого явления делает нам его иногда совершенно ясным, и мы сами дивимся, как мы прежде этого не замечали.

Вспоминаю по этому поводу многое из моего личного опыта. В Крыму, например, служа военным врачом во время Севастопольской войны, я впервые увидел море. (В Петербурге я даже и не желал никогда его видеть, забывал о нем.)

«Я видел море, я измерил очами жадными его...» Я видел его тихим; видел в бурные дни, купался в нем, катался в лодке, видел и во время мелкой зыби; многие отливы цветов, много красок я в нем сам сразу приметил; но никогда не замечал, что во время мелкой зыби *наверху каждой маленькой, аквамариновой, зеленоватой волны образуется на мгновение голубой овальный кружок*; появится, мелькнет, исчезнет, и опять появится, и опять исчезнет... Я и не замечал этого; но с тех пор, как я увидел эти голубые кольца небесного отражения уже не мелькающими, не рябящими в глазах моих, а *художественно-неподвижными* на одном из морских видов Айвазовского (и даже не на подлиннике, а на копии), – я *стал видеть их сам и в действительности, даже без всякого напряжения внимания*. Эти голубые кружки из зеленоватой зыби вошли уже раз навсегда после этого в неизгладимый запас моей психической жизни. То же было и *с тенью на снегу в ясный зимний день*. Кто-то при мне сказал: «так нельзя писать снег, это мел какой-то; у снега в солнечный день – *тень голубоватая*»... И вот я забыл даже, *кто и где* это сказал, а *голубоватую тень снега вижу с тех пор*...

То же бывает и с хорошими портретами; мы лучше понимаем даже свое собственное лицо, когда оно изображено *неизменно и удачно*, хотя бы на хорошей, искусной фотографии, не говоря уже о прекрасной акварели или талантливом полотне...

То же и с характерами людскими. Давно сказано, что не всякий умеет *наблюдать* то, что он *видит*. Не только большинство, менее способное, но и все самые способные люди нуждаются в помощи чужого ума, чужого наблюдения, чужого творчества для более всестороннего и ясного понимания природы и жизни.

Оригинальность, умение видеть и *показывать* другим нечто новое – само по себе редкость, но и для оригинального, для нового освещения жизни необходимы предшественники.

Разница между умом оригинальным и неоригинальным та, что первый не останавливается сразу только на том, что указали ему предшественники его в области мысли, но ищет уже прямо в жизни *чего-то еще иного*, и не только ищет, но и *находит* его. Напротив того, человек не оригинальный, наблюдатель без *творчества* удовлетворяется – если не на всю жизнь, то надолго – чужим освещением явлений, чужим мировоззрением, усваяя его себе иногда до такой глубины и силы, что и жизнью за эту чужую (по происхождению) мысль иногда жертвует.

Робеспьер был несравненно сильнее волей и духом, чем Ж-Ж. Руссо, но он жил *его мыслями*.

В литературе это особенно заметно, и мы видим часто, что люди, весьма твердые характером, самобытные *волей*, оригинальные, пожалуй, и независимые *в жизни*, являются литераторами вовсе не оригинальными, слабыми, почти вполне подчиненными своим знаменитым предшественникам и во взглядах, и в выборе сюжетов и лиц, и даже в языке и внешнем стиле.

Совсем других, не тронутых еще характеров, иных, новых, вовсе не виданных у других авторов положений они в жизни или совсем не замечают (так, как я долго не замечал голубых колец на зыби); или хоть и видят их *кой-как*, но не смеют и не умеют их изобразить.

У таких писателей достаёт независимости на то, чтобы к образам, уже всем знакомым, прибавить еще две-три черты своих, но для того, чтобы хоть попытаться выбраться из *современной* им толпы и осветить жизнь хотя бы и ложным светом, но на общепринятый способ освещения непохожим, – для этого у них уже нет силы. Было время, когда о мужике, например, у нас никто не писал; писали о *военных героях*; потом явился Гоголь, – и запретил писать о героях (разве о древних, вроде Бульбы), а о мужиках позволил. И все стали писать даже не о мужиках, а о «мужичках». Гоголь разрешил также писать о жалких чиновниках, о смешных помещиках и о чиновниках вредных. Потом прибавился еще к этому так называемый «солдатик» и в особенности «заскорузлый» солдатик. Еще купец-деспот – по образцу Островского – и, наконец, бесхарактерный, вечно недовольный собою, расстроенный «лишний человек» Тургенева. И множество молодых русских, если не героев, так «*jeunes premiers*»⁴, так сказать, и в жизни самой, и в повестях стали рвать на себе волосы, звать себя прямо из Гоголя «дрянь и тряпка» (болваны!) и находить себя ни на что негодными.

Комедии?.. Я в последнее время, по роду занятий своих в Москве, *вынужден* был перечитать много новых комедий и драм из русской жизни. И, признаюсь, несмотря на то, что у меня память хороша, я невольно только и запомнил, что два перевода, два веселых либретто: «Веселая война» и «Жирофле-Жи-рофля». По крайней мере, пусто, живо, весело и, в сущности, невинно; гораздо невиннее разных *известных* драм русских авторов. (Я говорю известных *другим*, очень многим, но мною, клянусь, тотчас же забытых, и уже теперь и не различимых драм.)

Помню, что вообще какая-то молодая, «страстная» или «чистая душою» женщина бросается в реку, отравляется, закалывается; и все оттого, что все другие люди очень дурны, а она очень хороша, *искренна* (особенно эта искренность у них в почете! Да черт ее побери, эту искренность, если она или вредна, или бестолкова)... Встречается также много добрых, но *слабых* отцов; мужей добрых, но «непрактических»... (один совсем практический, другой совсем непрактический человек – какая верная и точная классификация – подумаешь!). Граф или князь, щеголь и т. п. – это уж непременно подлец... Студент, учитель, какой-нибудь «честный труженик» (произносите, прошу, это великое слово позначительнее!) – это все благородные, умные люди. Ну, что за вздор! Ведь это вовсе неправда; это вовсе *нереально*... Я сам (да и всякий поживший человек) знал князей и графов, и франтов разных, и даже *фатов* отчасти, которые были при этом благороднейшие и очень умные люди, и сам же я встречал и смолodu, и

⁴ Первые любовники (*фр.*).

теперь учителей и студентов таких мерзавцев и таких ничтожных, что Боже упаси; несмотря на то, что они были «труженики» и что ногти у них были черноваты или пальцы желты от папирос.

Я уверен даже, что многие из авторов тех бесчисленных драм, которые мне пришлось, к несчастью (тоже по обязанности «честного труда»), просматривать за последние семь лет в Москве по литографированным тетрадкам г. Рассохина и других театральных издателей, я уверен, говорю, авторы эти знают, что бывают студенты мерзавцы (и даже очень часто), а флигель-адъютанты, камер-юнкера – прекрасные люди, «оно так, положим, но поди *опиши* это! Ну, а «лев» негодяй и «труженик» благородный – это уж верный сбыт... Нужно только две-три черты своих – и довольно!»

Впрочем, что и говорить о людях бездарных, когда даже и у таких умных писателей, как Глеб Успенский, Немирович-Данченко, искусственно прославленный некогда «Современником» Помяловский и т. д. – Гоголь так и дышит из каждой строки! Все *не грубое, не толстое*, не шероховатое, не суковатое им и не дается. «Буржуй», – «борода да копром», «прет» и т. д. *Сами в жизни* они, вероятно, слишком опытни и умны, чтобы не видеть иногда и нечто другое, но как писатели – как же могут они высвободиться из тисков той сильной, но в своей силе неопрятной и жесткой руки Гоголя, о которой я уже говорил, когда ни Достоевский, ни Тургенев, ни Писемский, ни Гончаров не могли не подчиниться ей, один *так*, другой *иначе*?

И у Льва Толстого можно найти даже в «Анне Карениной» следы этой *гоголевищины*; конечно, не в мировоззрении общем, не в избрании лиц и среды, – но в некоторых мелочах, в иных выражениях, в иных подробностях, *нужных* Гоголю для его целей, ему же, Толстому, *вовсе не нужных*. Я об этих весьма характерных мелочах упомяну после и укажу на них тогда.

Владимир Соловьев против Данилевского

I

Почти в одно и то же время я получил № 6 «Русского дела», в котором встретил горячую защиту взглядов Н. Я. Данилевского против внезапного нападения на него В. С. Соловьева, и оттиск самой статьи г. Соловьева из «Вестника Европы».

В защитительной статье «Русского дела» основательно замечено, что наше русское национальное чувство представляется г. Соловьеву самым главным препятствием для достижения его высшей цели: соединения церквей под главенством папы.

Не скрою, что видеть имя Соловьева на страницах г. Стасюлевича мне было тяжело.

Но что делать? Ввиду *других целей*, тоже ничуть не низких, можно и примириться с этой неожиданностью.

Этим поступком г. Соловьев доставил возможность более свободного возражения всем тем, которые до этого *отрицательного* нисхождения его в «студенец исления» не решились бы резко противоречить положительным сторонам его учения, его главной *духовной* цели: *спасти посредством воссоединения церквей наибольшее количество христианских души и приготовить христианское общество к эсхатологической борьбе, к пришествию антихриста и страшному последнему Суду Божию*.

Нет спора, это так просто, ясно и возвышенно, – сделать первый шаг к примирению двух церквей, разделенных и давно враждующих, но внутренне соединенных общей «благодатью», как доказывал еще прежде сам Соловьев.

Конечно, стоит только христианину вообразить себе на мгновение, что обе церкви – Восточная и Западная – вместо того, чтобы изнуряться в борьбе друг с другом, соединили бы свои разнородные силы против общего врага, против *неверия*, против всемирной революции, стоит, говорю я, христианину, только на миг вообразить себе это, чтобы сердце его исполнилось радости!

Этой главной цели стремлений г. Соловьева противоречить надо, мне кажется, с величайшей осмотрительностью, чтобы *не согрешить*. Желанию примирить обе апостольские церкви противоречить грубо и резко могут, по моему мнению, люди только двух родов: или те, у которых лично духовное чувство слишком слабо в сравнении с другими чувствами (национальным, утилитарно-либеральным и т. д.), или те, напротив, которые так просты в своем крепком православии, что боятся и не смеют разделять в уме своем настоящее от будущего: современную, *личную и безусловную*, принадлежность нашу к Восточному исповеданию от *возможностей изменений* церковной жизни в более или менее отдаленном грядущем. Но отделять в самом себе эти два движения можно. Я могу, в личных действиях моих и даже в помыслах относительно настоящего, быть в полном подчинении духа у представителей Восточной иерархии и вместе с тем могу говорить себе так: «Если это соединение церквей, в *какой бы то ни было форме*, даже и в форме простого подчинения папе, находится в предначертаниях Божиих, то *придет время*, когда наши восточные епископы найдут это возможным и правильным, и верующие *потомки* наши обязаны будут идти за ними хотя бы и «в Каноссу». *А если нет – нет!* И тогда лишь будет решено и ясно, что такое *был* в свое время Владимир Соловьев, великий ли пророк истины или лжепророк, захотевший, на поприще духовном, стать выше духовных властей.

А пока этого еще не случилось, нельзя решить, *что он такое*, с этой точки зрения.

Что касается меня лично, то я нахожу, что и в настоящем даже проповедь г. Соловьева скорее полезна, чем вредна.

Она полезна двояко: во-первых, *общехристианским мистицизмом* своим; во-вторых, той *потребностью ясной дисциплины* духовной, которая видна всюду в его возвышенных трудах.

Мистицизм (т. е. расположение веровать в нечто таинственное, выше видимого мира и выше нашего разума стоящее) до того *теперь нужен* человечеству, что не только мистицизм какого бы то ни было христианского оттенка приносит пользу, отвлекая ум от господствующей утилитарной пошлости и мелочной практичности нашей, но даже и *всякий* мистицизм, – мусульманский, буддийский, индивидуально-фантастический, спиритический и т. д., – может *косвенно* быть полезен, как вообще для подъема приниженных помыслов наших, так и в частности для переноса этих высшего порядка мыслей и ощущений в область православного мировоззрения. Ибо, чем больше я располагаюсь к вере в *сверхчувственное вообще*, тем легче мне и к своему православию возвратиться; тем легче мне облечь мою *общую веру ума* в одежды моей сердечной любви. Вера родит любовь, и любовь родит веру. Если же допустить эту общую, хотя бы и косвенную, пользу мистицизма *какого бы то ни было*, – то как же не признать еще более действие того полу-католического (или, если хотите, и вовсе католического *в конце*) мистицизма, которым дышат прекрасные книги нашего молодого и глубокомысленного теософа.

Широкое основание духовно-церковной пирамиды – *общее*; вершина ее должна быть в *Риме*, по мнению г. Соловьева. Мы можем не соглашаться с этим последним выводом (Владимир Соловьев – не собор восточных епископов); мы можем и, вернее даже, мы должны теперь, как православные, думать и надеяться, что *вершина эта отклонится* скорее на восток, чем на запад... Это само собою разумеется. Но то, что он говорит об этих *основаниях общих*, привлекательно и возвышенно до гениальности; отвергнуть этого мы не имеем права. Само своеволие и самая оригинальность его первоначальных объяснений подкупает в его пользу даже и зрелый ум, даже и богобоязненное сердце. Его своеобразное освещение всем известных фактов священной и церковной истории, изумительная прелесть его изящного изложения, местами его тонкое, философское остроумие – все это невыразимо освежает наш ум, привыкший к несколько тяжелым и сухим приемам нашей духовной литературы, и открывает перед нами новые и светлые перспективы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.